

О первом дне войны и эвакуации, о том, как ее квартиру обчистил офицер НКВД, о научной работе и первых выставках

<http://oralhistory.ru/talks/orh-1702>

25 апреля 2014

Собеседник

Брагина Наталья Михайловна

Ведущий

Лепешонкова Нина Викторовна

Дата записи

Беседа записана 25 апреля 2014 и опубликована 4 августа 2014.

Введение

Война началась, когда будущей художнице было семь лет. Наталья Михайловна рассказывает о времени, проведенном в бомбоубежище, о своей коллекции осколков немецких бомб, об эвакуации в Башкирию, где она с сестрой и братом жила в здании кумысолечебницы недалеко от реки Белой. Тяготы военного времени – постоянное недоедание, холод, болезни – в ее рассказе как декорации детства.

По возвращении из эвакуации семья Брагиных столкнулась с тем, что их квартира оказалась занятой офицером НКВД и его родными. После выселения «новых хозяев» в квартире осталась только массивная, сложная для транспортировки мебель.

После войны Наталья Брагина закончила школу и поступила в МГУ на экономический факультет, который закончила с дипломом экономиста-япониста. По распределению она оказалась в Институте научной и технической информации, откуда с некоторым трудом сумела перевестись в Институт мировой экономики и международных отношений, где как ученый-исследователь занималась изучением японского сельского хозяйства. Теплоту воспоминаний о секторе не омрачают даже истории осведомительства.

Сделав несколько попыток систематически заняться живописью и не получив удовлетворения, Наталья Брагина начинает путь художника-одиночки и постепенно формирует свою собственную изобразительную манеру. В 1970-е годы с помощью друзей проходят ее первые выставки: в частной квартире и помещении научного института. В это же время становится понятно, что Натальи Михайловне не по пути с официальным советским искусством.

Нина Викторовна Лепешонкова: Я хотела бы начать беседу с вашего детства. Расскажите, пожалуйста, об истории своего рода, как все начиналось.

Об отцовском роде

Наталья Михайловна Брагина: Начнем, пожалуй, с папы. Он из станицы Морозовской, из семьи, в которой было одиннадцать детей. Отец его был железнодорожным мастером, что давало возможность дать детям нормальное школьное образование. Но школьное — до последнего класса. Они не в гимназии учились, дети, а в так называемом реальном училище. По-видимому, там было очень хорошо поставлено обучение. Станица Морозовская — это на юге России, казачья была станица, но родители моего отца сами не казаки, а так называемые пришлые, как говорил папа. Действительно, железнодорожный мастер — это не казак. Казак никогда на такую работу бы не пошел (*смеется*). Тем не менее мой дед получил какое-то образование, хотя и первичное. И то, что он стремился дать детям образование, говорит, что все-таки семья не от сохи. Мама моего папы, естественно, не работала, а только рожала и воспитывала детей. У них был дом, и они там жили с какими-то родственниками еще, с приживалками, таким хорошим родом. Бабушка моя — я ее еще застала — была очень крепкая женщина, широкая в кости, с очень красивыми глазами. Я была совсем маленькая, помню, что у нее были очень яркие глаза в очень черных ресницах. Коротко постриженная по моде 30-х годов. Она не модница была, но тем не менее. И она пекла очень вкусные пирожки.

Н.Л.: Как ее звали?

Н.Б.: Баба Аня, Анна Николаевна [оговорка — ред.], папу моего звали Михаил Петрович, Петром Михайловичем звали дедушку. Там все время Михайлы и Петры чередовались. Революция застала моего отца, когда он кончал реальное училище. Он был одним из самых младших, а самый младший еще потом долго жил, и я его знала тоже.

” Все мальчишки из семьи ушли в красные партизаны. Насколько добровольно, я не знаю, папа старался не говорить о своем прошлом. Как, впрочем, и мама.

Они, по-видимому, участвовали в каких-то сражениях, потому что папа был ранен, у него пуля в ноге засела, и он всю жизнь так с ней проходил, прихрамывая. Но когда он был молод, это было не заметно, только в старости уже было заметно, что он чуть-чуть прихрамывает. Он очень быстро ходил, и это вообще никак не мешало, эта пуля. У него даже был билет красного партизана. Это какие-то привилегии давало, но какие — я уже не знаю. Братья его старшие после окончания Гражданской войны, в 20-х годах, уехали в Петербург, и поступали все в ЛИИЖТ, Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. И когда папа приехал, он тоже туда поступил. Самый старший брат был очень талантливый инженер. Вообще ребята были талантливые и красивые, все походили на маму. Малороссийские носы курносые, зато брови... Я не в них пошла (*смеется*).

Н.Л.: Брови взрлет?

Н.Б.: Да. Темные, хорошие брови. И глаза очень яркие, юноши были что надо! Не очень высокого роста, наверное, метр семьдесят, но все широки в плечах, такие степные скакуны (*смеются*). И эти ребята перетянули сначала в Питер, а потом в Москву весь род: и отца, и маму, и сестер, кроме старшей, которая во время Гражданской войны погибла. Она ехала со своими детьми в эшелоне, куда-то они уезжали от всего этого ужаса, и ее убило. И с детьми что-то тоже [случилось] — никого не осталось от нее. Оставался тогда самым старшим дядя Саша, очень талантливый инженер. Его посылали в Германию, он руководил предприятием каким-то железнодорожным и преподавал в Ленинграде. И потом, в 36-м или 37-м году его послали в Штаты с группой специалистов, где они изучали опыт американских железных

дорог. Но в 37-м году его сразу посадили, не знаю уж как американского шпиона или члена так называемой троцкистской группировки, или члена Промпартии. В общем, предлог был найден. Всех, кто ездил с ним в Америку, посадили. Видимо, он был в самом начале этих репрессий взят, еще требовались доказательства вины, а там не было. Он был отчаянный коммунист, так же, как и мой папа, как все мужчины этого рода, можно сказать, за это кровь проливали. Искренне верили, что совершают правое дело. И его послали на поселение на Дальний Восток. И где-то в 39-м году уже политических, тех, кто был послан на поселение, возвращали в лагеря. В общем, он там погиб.

Н.Л.: Как его звали и как была его фамилия?

Н.Б.: Брагины, все Брагины. Это род Брагиных, папы моего. Брагин Александр Петрович.

Н.Л.: То есть это ваша фамилия?

Н.Б.: Это девичья моя фамилия. У нас с сестрой было представление о независимости очень странное, мы решили, что самое главное — не утрачивать фамилию. И мы сохранили свою фамилию, и она, и я. Юре было все равно: девушки такие независимые — ну и ради бога.

Н.Л.: Это про вашего мужа?



Михаил и Мария Брагины. 1929 или 1930

Переезд родителей из Ленинграда в Москву

Н.Б.: Да, у мужа [фамилия] Кочеврин. Так и были всегда: Брагина и Кочеврин. В общем, можно эту ветвь закрыть, хотя у него много очень детей было, у дяди Саши: и в Москве остались мальчик и девочка, и на Дальнем Востоке родился еще мальчик, и всех этих братьев Москва свела, так или иначе. Но остальные братья, кроме папы, были военными. И, естественно, как военные они были особенно преданы делу партии. Когда посадили дядю Сашу, папа уже преподавал в ЛИИЖТе и одновременно

был директором научно-исследовательского железнодорожного института. Жили они в Ленинграде, и я там родилась, но папа срочно должен был менять климат Питера на Москву: у него открылся туберкулез. Условия работы были ужасные, они работали круглые сутки, члены партии, и получали, как-то мама говорила, «партминимум», в конвертике получали деньги, то есть, видимо, прожиточный минимум. Я не знаю, что там было и как он рассчитывался. Тогда ведь не рассчитывали прожиточный минимум. В общем, денег было достаточно, но ограничено. Но они еще были молоды, и у них была только моя старшая сестра, и вот я родилась. Они быстро обменяли свою питерскую квартиру... Там хорошая была, на 2-й Московской, по-моему... Нет, на Советской улице — там было три Советских — ну, которая в войну была разбомблена. И поэтому я не могла даже посмотреть на дом. И началась его московская жизнь. Его, конечно, понизили, он перестал быть директором, стал преподавателем МИИТа и МЭМИТа, Московского энерго-механического института транспорта. Он был, по-видимому, очень хороший преподаватель и серьезный исследователь, потому что всю жизнь занимался расчетами.



В доме у него был письменный стол, который ему подарили родственники мамы, из Симферополя прислали. Когда он был еще директором, ему полагалось один [багажный] вагон в составе, идущем с юга, заполнить своими вещами.

Н.Л.: Как интересно!

Н.Б.: И мамины родственники, тетя и дядя ее симферопольские, послали кабинет превосходный. Письменный стол, вот этот шкаф... Но стол был проще, я его очень хорошо помню, потому что главное — доска, столешница была очень хорошая, и просто ящики внизу. На этом столе он мог чертить. И всегда разложен был ватман и калька. У отца были инструменты для черчения, превосходные, он привез их из Германии. Он ездил в Германию, но в Штаты уже не ездил.

Н.Л.: И эта не вышла ему боком поездка?

Н.Б.: Трудно мне сейчас что-то сказать, настолько родители скрывали все о своем прошлом. Это сестра моя больше знает, она на пять лет старше, она уже что-то понимала, уловила. Из разговоров родителей я лепила их образ до моего рождения. Еще мама немножко рассказывала, а папа — это сестры, дяди, бабушка с пирожками своими (*смеется*). Действительно очень вкусные, она жарила их, пирожки. Мама пекла пирожки, поэтому... (*смеется*).

О маме и бабушке

Н.Л.: А как звали вашу маму, какая у нее была фамилия?

Н.Б.: Мама был Мария Северьяновна. Северьян — старое русское имя, но это имя, в основном, давалось священникам. Так и было, отец ее был священником. Мария Северьяновна Швачко. А швачко — швея по-украински, мама с Украины, селение Буды под Черновцами. Но я это не очень хорошо знаю, а знают уже мои дети. Сын Петр занимался и занимается специально расследованием. Поскольку на Украине он бывает по своим делам, он нашел записи в церковной книге о рождении моей мамы, о рождении ее сестры младшей. Церковные записи, оказывается, сохранились. Только там, где сжигалась церковь, наверное, нет. Эта церковь сохранилась, где мама была зафиксирована. Ее отец был старше [своей второй жены] намного, и был он вдовцом. А она была из крестьянской семьи. Она, [моя бабушка], Ксения Ивановна Швачко, вышла замуж за этого священника, вдовца, которому было, наверное, сорок, а ей двадцать. Тоже была очень интересная хохлушка: худая, высокая бабушка, с внимательными серыми глазами и уже седыми волосами, но у нее не белые были, а серые еще волосы, гладко зачесанные. Я с ней в детстве проводила много времени, потому что родился мой младший брат еще, с которым бабушка и возилась. И была она очень молчаливая. Сестра моя уже ходила в школу, я еще в школу не ходила,

и был этот малютка, брат мой, Игорь, бабушка выводила нас во двор. Она везла Игоря в коляске — таких уже не бывает просто, она мне запомнилась как нечто дивное! Видимо, это единственная коляска, которую в своем детстве я видела: деревянная, как колыбель, раскачивалась вот так, на полозьях, и бабушка возила Игоря. И с куполом, как у обычной коляски, но все это было деревянным.

Н.Л.: И купол был деревянным?

Н.Б.: Все деревянное. Может, тоже из Симферополя? Бабушка пела мне украинские песни. Она все время тихонько напевала — только когда мы были втроем, Игорь, я и бабушка. Когда мы дома были, она тоже напевала и учила танцевать украинские танцы. И я танцевала, очень любила танцевать. «Гоп, мої гречаники» до сих пор помню. «Гречаники» — это гречневые лепешки, кажется. «Гоп, мої милі, / Чогось мої гречаники / Не скоро поспіли!» И я лихо так, притопывая, разводя ручками, плясала, а бабушка хлопала в ладоши, смеялась и говорила: «Хорошо, хорошо, дитятко, давай дальше!» (*Смеются.*) И дитятко рада была танцевать. Но это, видимо, очень небольшой был период, потому что бабушка внезапно умерла. Умерла у меня на глазах. Игоря бабушка уложила спать и что-то делала на кухне, и я, помню, вертелась, а родители с моей старшей сестрой уехали в гости к жене дяди Саши, старшего брата. Мои родители очень поддерживали эту семью, помогали ей деньгами, и ребят — там были Диночка и Владик. В общем, как-то участвовали в воспитании. И мама позвонила домой — уже были телефоны. Вообще-то телефоны в Москве были с XIX века, но, конечно, не во всех квартирах. А Поварская вся была телефонизирована, в Калашном наверняка тоже, потому что этот дом, в котором мы сидим, построили в 14-м году для офицеров.

Н.Л.: А мы сидим на Арбате.



В пионерлагере под Москвой. 1947

Цветочный магазин на Арбатской площади. Смерть бабушки

Н.Б.: Мы сидим в Калашном переулке, это общий район такой околоарбатский, потому что Воздвиженка раньше была частью Арбата и выходила на Арбатскую площадь, которая уничтожена совершенно, даже не до войны, а когда я училась в университете. Совершенно площади теперь нет на самом деле, а была прекрасная площадь с маленькими магазинчиками. Здесь особенно интересный был магазин цветов. Прелестный! Я тогда жила еще на Беговой, а училась в университете, на Моховой, и ходила пешком с Моховой на Беговую и через Арбат иногда шла. И дальше через Пресню. Я очень много ходила, вообще любила ходить, а не ездить. И заходила в этот магазин в день стипендии, маме цветы покупала всегда.

Н.Л.: А какие там были цветы?

Н.Б.: Зимой роз не было. Были туберозы, гиацинты. А весной тюльпаны. И потом в горшках цветы, но которые срезались. И примулы были, очень хорошие примулы. Гортензия. Это был цветок, который тогда выращивали в теплицах. И этот магазин напоминал теплицу небольшую. Я вспоминаю запахи — просто дивные, потому что одновременно пахло землей, теплой и влажной, и цветами. Туберозы благоухали дивно. Я могла позволить себе купить маме какой-нибудь цветок. Мы очень любили маму, и это было само собой разумеющимся. А мама и папа и моя сестра Лида поехали сюда, в Большой Кисловский. Там жила тетя Нюся, жена дяди Саши.

Н.Л.: Папиного брата.

Н.Б.: Папиного брата. И мама часов в 10 позвонила бабушке, чтобы узнать, спят ли дети, все ли в порядке. И вместо бабушки подошла к телефону я, и уже это маму дико испугало. Она сказала: «А где же бабушка?» И я ей сказала: «Ты, мамочка, не волнуйся, бабушка лежит на кухне на полу». Мама пришла в ужас: «А Игорь спит?» — «Я его пытаюсь уложить». А он почему-то никак не хотел укладываться, стоял в кроватке и ныл: «На-на-на». Тут бабушка лежит, я ей говорю: «Бабушка, вставай!» А она не встает и как-то странно на меня смотрит. Игорю говорю: «Спи!» Я чувствовала себя такой взрослой, необыкновенной. А он что-то такое ноет и не хочет спать. В общем, все это я изложила маме, но говорила: «Главное, ты не волнуйся, все хорошо».

Н.Л.: И серьезным голосом.

Н.Б.: Ну конечно. И они примчались в ту же минуту, потому что от Кисловского до Беговой на машине — такси они взяли или частного... Вообще-то мы ездили на трамвае, здесь трамвай ходил, но на трамвае долго было бы. В общем, бабушка, оказывается... [у нее] был инсульт. На следующее утро меня отправили к тете Нюсе той же самой, Лида ходила в школу, Игоря не знаю, куда они дели. Бабушка, по-моему, неделю пролежала без движения и умерла. Когда меня вернули, уже ее не было, ее похоронили. Эта вот бабушка была женой священника. Но это тоже скрывалось, нельзя было священников иметь в роду. Это снижало социальный статус и позволяло тебя тоже загнать куда-нибудь. А папа был член партии, он должен был быть чистым перед партией, как стекло. У мамы был крестный, который тоже перебрался в Москву. Тоже на железной дороге работал, и во время войны к нам заезжал. Что значит «крестный» — крестный отец. И крестная мать и крестный отец — это люди, которые заменяют в трудную минуту родителей и берут на себя всю ответственность за детей. Это, в общем, в значительной мере утрачено было потом, но дядя Митя твердо помнил. И с помощью дяди Мити, который жил в Кунцеве, — у него был дом здесь, и была жена, тетя Валя, и толстая дочка Надька (*смеется*), жутко толстая была... Он привозил нам сначала поросят, потом кроликов. Где он их брал, не знаю, но поросята — это свои. Цыплят приносил. И всем этим хозяйством должна была заниматься я.

Н.Л.: Это прямо в квартиру вам приносил?

Н.Б.: Конечно, а куда же еще (*смеется*). Мы жили тогда на Беговой, на первом этаже. И эта Беговая тогда собой являла полусельский-полугородской тип. Там были дома двухэтажные, построенные уже в 20-е годы, при советской власти. Кооперативные дома, потому что рядом авиационный завод, и там

испытатели, летчики, они строили эти дома. В общем, зажиточная часть пролетариата.



Рядом были бега, куда я со своими поросятами и кроликами ходила, выгуливала их.

Ну, это отдельная статья, это я вам дам прочитать, у меня в книжке написано, это просто как анекдот. Но все это складывалось в мое детство.

Н.Л.: Сколько это вам было лет, когда бабушка умерла? Это сейчас вы какой период рассказываете?

Н.Б.: Это мне было семь. Даже шесть. А в семь лет началась война. Папа сразу ушел добровольцем, естественно.

Начало войны

Н.Л.: Наталия Михайловна, а вы помните этот момент, как началась война?

Н.Б.: Прекрасно помню. Это было воскресенье, очень хорошая погода, замечательная. Я гуляю во дворе. Двор между двумя двухэтажными зданиями, они вот так стоят (*показывает*), и кругом садовки, сплошные садовки. Там сирень, акация. Все это фантастически цветет. Мы гуляем посреди двора, в самом центре двора высится столб, от него идут линии передач. И на нем висел репродуктор, такая бумажная тарелка большая, черная. А бумага там специфическая, плотная, не знаю, что за сорт. Этот репродуктор важные вещи сообщал. Например, до войны еще были учения ОСОАВИАХИМа, Общества содействия армии, авиации, флоту*. Они имитировали, эти члены общества, раз в неделю, чаще или реже, имитировали химическую атаку. И всех граждан предупреждал этот [репродуктор] на столбе: «Граждане! Уходите по домам, задраивайте двери, окна, закрывайте форточки». А тех, кто останется на улице, будут в бомбоубежище отвозить. Уже были бомбоубежища, и у нас во дворе было. Одно, правда, не достроено осталось: так, выкопана большая... не яма — траншея, и верхнее перекрытие из деревянных брусьев, но крыши не было над ним. И, вот когда начинал гудеть гудок тревожный, омерзительный: «А-а-а...» — жутко, сильно гудел, выбегали в сад дружинницы, с повязками и в противогазах. Это описано у Ильфа и Петрова, ведь Остапа замели такие голубушки, он попал в такую ситуацию. Значит, еще и раньше проводили эти учения. И тогда укладывали на носилки, и бегом девушки бежали в домоуправление. Там у нас было за домами, вдалеке, домоуправление. И все ужасно веселились, хохотали, а те, которых хватало, отбивались. Если, например, какого-то молодого мужчину или юношу, то тут вообще было одно удовольствие обеим сторонам. Они, собственно, взрослых только хватало, а дети бежали сзади и смотрели на все это безобразие (*смеются*).

Н.Л.: Обоюдно весело было!

* Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству.



Весенние цветы. 1963

Н.Б.: Очень весело. И так же в это воскресенье завывало радио, но было сказано: «Внимание! Внимание!»... Не «особое сообщение» было сказано, а «важное сообщение». И повторяло это несколько раз, а самого сообщения не было, только все время говорили: «Внимание! Внимание!». Наконец сообщили: «Внимание! Внимание! Сегодня в 4 часа Германия вероломно напала на Советский Союз!» Там что-то еще говорили, но говорил диктор, собственно, единственный диктор на советском радио... Как же его фамилия была? Возможно, я вспомню. И я помчалась домой со свеженькой новостью. А дома тоже тарелка висела, но почему-то, видимо, не слышали...

”

В доме были очень бурные события, потому что моя сестра Лида в этот день должна была уезжать в Симферополь, а оттуда тетя с дядей везли ее в санаторий на все лето. И она уже мечтала об этом крымском отдыхе, а тут я вбежала с радостным криком: «Ура! Война!» Родители оторопели, включили наш репродуктор...

А, «репродуктор» называлось. И поняли, что катастрофа. И первое, что они сказали Лиде: «Ты никуда не поедешь». И она закатила истерику. Она весь день рыдала: «Я поеду! Какое мне дело до войны! Война где, а я где!» Но родители мои, мама, которая пережила Гражданскую войну и превосходно помнила, что при этом происходит, наотрез отказалась [ее отпустить]. Все, билеты порвали. И Лида возненавидела родителей — конечно, они виноваты, а вовсе не война.

Н.Л.: Конечно.

Бомбежки Москвы. Коллекция осколков

Н.Б.: Я помню, как бомбили Москву. Папа сразу же ушел [на фронт]. В конце июня — начале июля это были регулярные бомбежки, и мама нас уводила в укрытие. Но не в наше бомбоубежище, которое не было [достроено], а в метро «Динамо», ближайшее к нам.

Н.Л.: Это же далеко!

Н.Б.: Конечно далеко! Я ходила всегда пешком, вернее, бегала, когда в университете училась, и мне казалось, это близко-близко. Но...

Н.Л.: А сколько это минут, вы за сколько добежали?

Н.Б.: Добегала я минут за двадцать — за полчаса...

Н.Л.: Очень быстро вы ходили.

Н.Б.: Я бегала! Я всегда бегала в детстве, даже не в самом детстве. При этом считалось, что у меня порок сердца. При пороке сердца я бегала, совершенно не думая ни о каком пороке. Потом порок исчез, это было так, временное, юношеское заболевание.

Н.Л.: Во время бомбежки вы с мамой...

Н.Б.: Мама тащила одной рукой Игоря, другой — меня. Вернее, я бежала за ней, потому что она несла сумку. Надо было минимум каких-то вещей. Если дом разбомбит, во-первых, все документы она таскала вечно с собой. Потом еще в метро ведь на целую ночь мы убежали, в тоннели мы уходили, и там люди раскладывались на газетках, ну, и кто смог принести... Некоторые устраивались на матрацах, с подушками и одеялами. Какие-то не очень молодые люди, невоеннообязанные супружеские пары, они постели таскали с собой.

Н.Л.: Наверное те еще, кто близко жил.

Н.Б.: Да, поближе к «Динамо». Мы, кроме какой-то одежонки, которую мама наспех натягивала на нас, ничего не носили. И мы сидели там на газетах, пережидали. Всякое было. Больше всего люди боялись воровства. Могли украсть карточки, могли украсть документы — это все ценность была большая во время войны. И я, когда мы возвращались домой, собирала осколки от бомб. На нашу крышу также попадали «зажигалки» так называемые. Они вреда особого не наносили дому, но на крышах дежурили жильцы, невоеннообязанные, пожилые люди. Были установлены бочки с песком и водой. Они хватили специальными щипцами бомбу и тыкали ее либо в песок, либо в воду. И она не разрывалась, ничего не было. Но иногда разрывалась, иногда сыпалось с неба что-то такое.

” Куски снарядов волновали меня невероятно, потому что очень толстый металл был, и вид этого металла — он вот такой толщины — невероятно волновал меня.

Все это я собирала и притаскивала домой. Это когда уже после бомбардировки мы приходили домой. В конце июля 41-го года заставили нас эвакуироваться. Папы все так же не было. Поскольку он воевал в Гражданскую, его на переподготовку послали, на курсы офицерские [командирские — ред.]. И мы ничего не знали о нем. Ну, это еще полбеды. Почему-то я Лиду не помню. Она, конечно, бежала с нами, но только она несла все вещи.

Н.Л.: Лида — это ваша...

Н.Б.: Старшая сестра. Ей было двенадцать лет.

Н.Л.: А вам было шесть лет...



Крыши. В. Красносельская. 1962

Эвакуация в Башкирию

Н.Б.: Семь, исполнилось семь. И она тащила все вещи, потому что мама у нас была очень больная. У нее с печенью, потом, во время войны, что-то было с желчным пузырем. И после войны ей сделали все-таки операцию. Она практически ничего есть не могла. Как только съедала, у нее начинался приступ. Это слово было нам родным: «Мама с приступом лежит». А мама лежала и не могла двинуться от боли адской. И лечили ее только белладонной. Это болеутоляющее, но оно очень слабо помогало. И когда МИИТ стал эвакуировать семьи своих сотрудников, к маме прибежали. Я просила ужасно маму: «Можно я возьму с собой эти осколки?!» Их было порядочно. Мама просто зашлась в ужасе! *(Смеются.)* Мы без осколков побежали на Казанский вокзал. Сам вокзал я не очень хорошо помню. Видимо, кто-то маме помог с эвакуацией, потому что трое детей — это... И мы почти ничего не взяли, никаких вещей. И ехали в теплушках, как описано было не один раз, во всех воспоминаниях. Когда поезд ускорял движение, мы на один бок перекатывались. Там было много чего. Нас везли в Башкирию. На реке Белой были кумысолечебницы — лечение кобыльим молоком туберкулеза. И там воздух дивный, степи, такой воздух... До сих пор я помню этот воздух, многое чисто органолептически запомнилось. Село Алкино. Село как таковое было вдалеке, а здесь, куда нас привезли на подводах, просто стояло несколько домиков на сваях, потому что там весной половодье. Метра два, наверное, — заливало все. А потом приток реки Белой река Дёма уходила в свои берега. Но когда она разливалась, это страшная картина! И поселили нас там. Но кумысолечебница — это летнее заведение, там только летом лечились. А зимой, во-первых, молока кобыла не дает, а во-вторых, дома эти не были приспособлены.



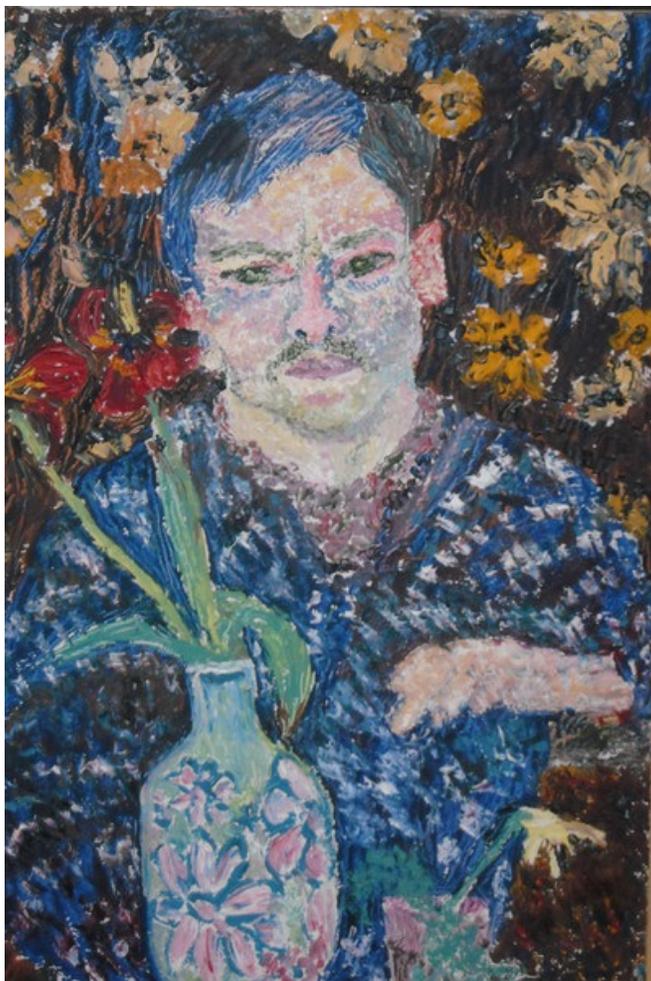
И у нас там были кровати типа гамаков, парусиновые, и мы спали в этих гамаках во всей одежде, которая у нас имелась. У кого были валенки с калошами — счастливые, те прямо так и спали.

У меня были просто валенки, без калош. Я спала в шапочке, шубе. Мама выменяла на нашу летнюю одежду — кофточки какие-то на нас были — зимнюю одежду нам выменяла. Игорю что-то перешли быстренько. Но мама жила отдельно от нас. Все родители, то есть женщины все, работали в селе, и мама работала кладовщиком. Там работали истопниками и просто на ферме помогали, за это они получали карточки, по карточкам — еду.

Н.Л.: Но мама ваша ведь была очень больна. Как же ...

Н.Б.: Не важно, там все были больны. Не знаю, она, наверное, ничего не ела, у нее не болела печень тогда (*смеется*). Кстати сказать, во время войны очень многие болезни проходили во время голода, кроме сердечных, конечно. Почки, печень — потому что люди совершенно стерильно питались: хлеб и вода, больше ничего не было. Нас какими-то кашами кормили, что-то запасали наши женщины. За дровами мы сами ездили в лес и на себе приносили, не бревна, конечно... Мы считались малышами, мы ветки таскали. И весной, когда стали распускаться березы, нас научили пить березовый сок. Это так здорово! Мы через соломинку его сосали с утра до вечера. Делать нам было нечего, особенно было обидно — меня в школу не взяли, сказали, что я маленькая. Там маленькие были классы, учителей не было, учили те же самые девушки, которые вроде пионервожатых были в наших отрядах. А Лида ходила в пятый класс, училась в сельской школе, но их посылали на лесозаготовки.

Н.Л.: В пятом классе.



Портрет Андрея Тарковского. 1967

Н.Б.: Да, двенадцатилетних девочек. Там мальчики, может, были, но очень мало было мальчиков, в основном девочки. Они уезжали на неделю на лесозаготовки. Ничего, все выжили (*смеется*). Но нас водили раз в десять дней в баню, потому что в принципе мы не умывались и не причесывались. По нужде ходили в снег в мороз. Ведро ставили малышам, которое совершенно заледенело, в лед превращалось, и бедные наши воспитательницы не знали, как избавиться от содержимого ведра. Нам-то все это совершенно иначе казалось, жутко интересно было то, что мы пили березовый сок, собирали эти ветки, и что волки подходили к домам. Голодные были тоже, волки-то. Лошадей всех угнали в армию, не на кого было им охотиться, бедняжкам. В общем, там была самая дикая жизнь. Когда начался ход березового сока, по мере отступления воды Дёмы, мы на берег спускались, а берег покрывался щавелем. И я попробовала щавель... Во-первых, он там был сочный, крупный, и он казался нам сладким. Мы сахара вообще не видели там никакого. И мы собирали щавель, и у нас на кухне нам делали ржаные пироги со щавелем. Казались необыкновенно вкусными эти пироги, хотя и сейчас я бы с удовольствием попробовала. Зимой я попала в баню. Вернее, каждые десять дней попадала. В один из таких дней наша воспитательница, когда я разделась, сказала: «Погоди-погоди». Там все дети сразу пошли мыться, а она меня остановила: «Это у тебя что?» — «Не знаю, чешется». У меня развился очень сильный диатез. Во-первых, мы не снимали ни днем, ни ночью чулки, которые на нас были, и валенки, и все под коленками, под чулками жутко у меня чесалось все время. И я расчесала до крови — это само собой, но просто чулок уже вошел в плоть, а все тело было покрыто у меня огромными фурункулами. Они тоже чесались, я их чесала как следует (*смеется*). И, в общем, вся одежда у меня соединилась с моим телом и никак нельзя

было разъединить. Я начинала кричать — это жутко болезненно, потому что присохло, там же такие струпья. Меня направили в изолятор. Это было счастливейшее время. В изолятор старались никого не отправлять, а своими средствами лечить. И я была там одна. Не знаю, может быть, там кто-то из взрослых был, но ребенком я была единственным, и медсестры из наших же женщин, тех, что нас везли в эвакуацию, стали меня лечить ихтиоловой мазью. Сейчас она почти не используется, но это прекрасная мазь. У меня только на лице не было фурункулов, а так вся, с ног до головы была.



Ихтиоловая мазь из дегтя делается, и запах дегтя до того мне понравился — я болела бы там все время.

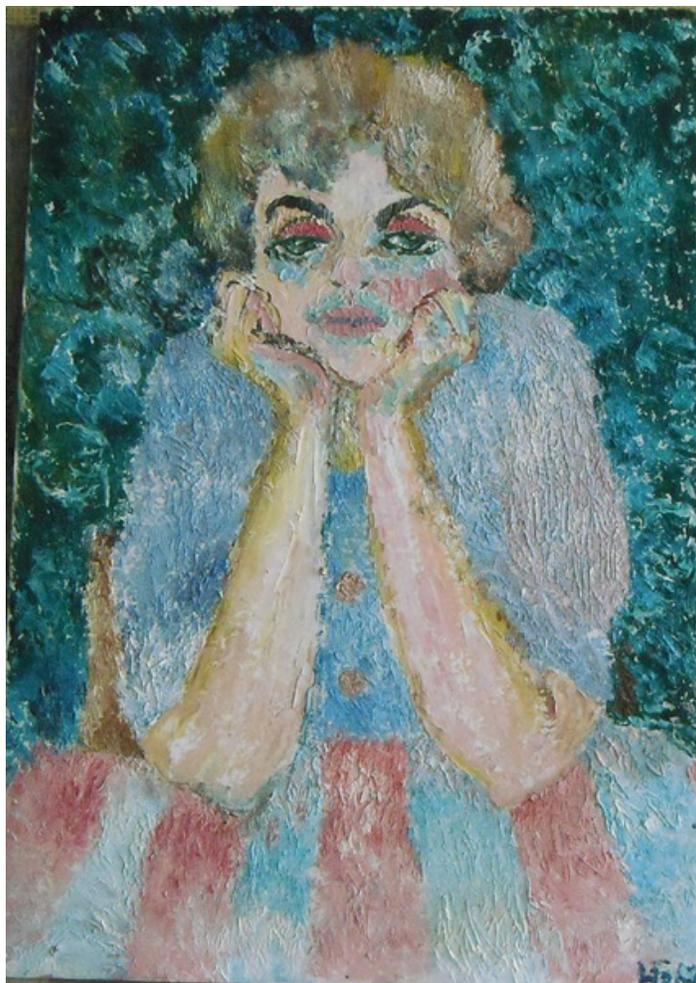
Они меня обмазывают с утра и бинтуют — не в бинты, а в тряпки белые. И я сижу — мне ходить особенно никуда нельзя, и прошу, чтобы мне дали книгу какую-нибудь. Я хорошо читала, сама научилась, еще в Москве умела читать. Они очень удивлялись и достали мне «Букварь». «Букварь» мне был неинтересен, я выучила его наизусть за один день. И они какие-то книжки стали доставать из библиотеки сельской. И самое главное — мне нужно было усиленное питание, потому что это худосочие было. И мне они давали мед с молоком. Боже, как это было вкусно! Но все-таки я поправилась, и меня впустили в общее «стадо».

Возвращение в Москву в 1942 г.

Н.Б.: В 42-м году папа приехал в Москву. До фронта он не дошел, прошел эти курсы, но перед фронтом медкомиссия его забраковала, потому что, пуля эта, он хромал. Он не мог в действующей армии, неполноценный был солдат и офицер. И его возвратили в Москву, чтобы он возглавил движение на запад вооружения, солдат: все движение эшелонов на запад и с запада раненых на восток. Не только раненых, там эшелоны с заключенными шли. Ну, папа об этом ничего не рассказывал. Во всяком случае, он написал, чтобы мы возвращались, что он уже дома. И мама мгновенно... По этому письму давали бумажку, по которой нас могли отпустить. И мы ехали в таком же эшелоне, но помещались в теплушке. Это замечательная вещь: часть вагона отгорожена, в ней устанавливается печка-буржуйка чугунная, которая все время топится, поэтому там тепло, просто жарко. И дух от нее идет — ее топят дровами. И там ехали военные, которые возвращались в армию. И мы, трое детей и мама. В общем, это было очень хорошо, хотя мама была очень озабоченная, но я не понимала, я наслаждалась обществом. Я была очень раскованный ребенок, пела и плясала, только попросите. И на каких-то стоянках, а стоянки там были непредсказуемые, потому что мы пропускали всех. И вечно разъезжались, маневрировали, с одних путей на другие. Как правило, это очень долго длилось. И мама выходила со мной, а Лиду с Игорем оставляла в вагоне. Или с Лидой выходила, чтобы прогулялся ребенок. И вот еще в Башкирии выходили женщины к этим вагонам и предлагали мед, башкирский мед — я впервые там попробовала. Но сначала в изоляторе... Они продавали и масло башкирское. Продавалось оно в виде шаров, сбивали его в такой шар в марлечке или тряпице. И женщины по-русски почти не говорили, они по-башкирски говорили. Мама смотрела на все это, не на что было [купить]... Деньги их не интересовали, их только одежда интересовала, а одежда была только та, что на нас, все остальное давно-давно променяли на еду. И я помню, что мы с мамой стоим и смотрим. Я-то смотрю на этот желтый шар — такой красивый, и так пахнет замечательно! И вдруг эта женщина, что предлагает — дергает... На мне кофточка была вязаная, кто-то мне связал. Но я ее очень любила, это единственная была моя одежда. И она дергает и маме объясняет: вот ты это, а я тебе шар вот этот. И мама долго смотрит на нее и на меня и снимает кофточку. И я там почти голенькая, какая-то рубашонка еще. И счастливые мы возвращаемся в вагон.

Ну а в Москве дивные дела были, потому что квартиры уезжающих сотрудников находились под бронью: опечатаны были, и висела на нитках сургучная печать. Нельзя было открыть. Все это запечатывал, когда мы уезжали, наш домоуправ. Но когда мы приехали... Правда, к моменту, когда мы появились, папа восстановил справедливость. Оказывается, как только мы уехали, Москва наводнилась работниками

НКВД, потому что в Москве такие слухи были, что хоть сейчас открывай город немцам, и работники НКВД должны были наводить порядок. И вот приехал этот работник НКВД с семьей, но он не московский житель, а жить ему надо где-то. Он офицер был, поэтому его в общежитие не пихнули, а сняли бронь с нашей квартиры. И он въехал, но всего полгода, по-моему, прожил, когда папа вернулся. А папа все время ездил на поездах, но когда позвал маму, он пошел посмотреть, как там квартира, и ахнул. Он немедленно потребовал, чтобы они выселились. Они не хотели выселяться. Но папа сказал, что он — кому он сказал, я не знаю: там и домоуправ и, видимо, какие-то органы участвовали в этих разборках — что он тоже офицер. Этот был капитан, а папа был выше [званием]. Что может быть выше? Майор, что ли. В общем, чином выше. Ну, я знаю, что войну кончил папа подполковником. У них была своя железнодорожная форма, не военная. В общем, этот вынужден был сдаться. Он в соседнем домике, точно так же: сбили бронь, и он туда переехал. Из-за того, что папы не было все равно в Москве, этот самый Бровкин со своей семьей выпотрошил нашу квартиру дочиста. Он не мог перетащить мебель, потому что мебель довольно тяжелая была у нас, но он забрал абсолютно всю посуду, все белье постельное, всю одежду, которая оставалась. Пустой был дом, абсолютно. Когда приехали, у нас не было миски даже металлической поесть. Кухонную посуду — все вычистил. И Бровкин этот мой основной враг. Враг он еще был потому, что там игрушки наши оставались, в частности, муфточка маленькая меховая, которую мне подарил, видимо, в начале июня 41-го младший брат папы. Он был танкистом. Он только что окончил танковую академию и ехал в начале июня на запад: получил направление. И он, естественно, к брату заглянул всего на несколько часов между поездами. И мне привез вот эту муфточку, и в ней полно было конфет. Но я конфеты не ела, конфеты я сразу всем раздала.



Портрет Рены Соловьевой. 1967

Н.Л.: А почему вы не ели конфеты?

Н.Б.: Не любила. Я вообще сладкое не ела, и когда мне давали конфету, во время войны, я приносила ее домой и делила на четыре части между членами нашей семьи. И мне этого совершенно не хотелось, видимо, было много сахара в крови. И этот дядя Володя, самый младший, он мне очень понравился, потому что он меня подкидывал вверх! И ловил! И все время смеялся, такой веселый! А я маленькая довольно была девочка. И муфточка-то, и зачем муфточка? А там у них был парень, и парень был больной, с генетическим поражением, дегенерат. Тогда я его не видела еще, но муфточку они тоже забрали. Да, и я перед тем, как мы в эвакуацию должны были уехать, я в эту муфточку сложила осколки бомб и хотела пронести муфточкой, хоть как-нибудь. Но мама увидела... И муфточку унесли Бровкины.

Н.Л.: А осколки бомб оставили или тоже унесли?

Н.Б.: Выбросили, ничего не было. Дом был пуст, ни веника, ни совка — ничего! Все, что могли унести, они унесли.

Н.Л.: Это они так мстили за то, что их выселили?

Н.Б.: Они не мстили, они просто...

” У них ничего не было, и они действовали, как истинные революционеры: забирай все, что подвернулось.

И вот тут я уже пошла в школу. Мы жили на Беговой улице до... До какого же года? Я ушла из дома в 60-м году, когда вышла замуж. У Юры была комната отдельная в коммунальной квартире, в новом доме совершенно.

Н.Л.: У вашего мужа?

Н.Б.: Да. И там было три комнаты. В двух комнатах жили супружеские пары с ребенком, и Юра один получил эту комнату. И я туда пришла. А потом там родились сразу двое наших детей, а в тех семьях тоже еще по одному ребенку, итого у нас шестеро детей по коридору ползали примерно одновременно.

Н.Л.: Это вы сейчас рассказываете про...

Н.Б.: Про после замужества.

Н.Л.: То есть вы из школы сразу в замужество.

Учеба в школе. Увлечение рисованием

Н.Б.: Да. Конечно, между школой был университет, но школу я окончила с серебряной медалью, поэтому могла без экзаменов куда угодно поступать. И я ходила по разным институтам, в частности, в Институт востоковедения, на дни открытых дверей. А моя сестра Лида окончила в том году университет. Она училась замечательно, с золотой медалью окончила школу, собственно, серебряная у меня только потому, что вся школа навалилась на меня, и каждый день мне говорили: «Вот такая сестра у тебя! Гордость школы, гордость района! А ты?» Но я, по выражению мамы, была шлендрой, я в основном гулять любила. Я очень любила ходить пешком. Я так далеко заходила, и одна, ничего не боялась, хотя вечно какие-то банды были. Говорилось, конечно, что банды. Со Скаковой улицы, с бегов — страшные были, угроза района. Но Бог миловал.

Н.Л.: Вы с ними не пересекались?

Н.Б.: Один раз... Но я не уверена, что это были те самые банды, просто... Такого шпанского вида ребята

шли по нашей улице плотной цепью поперечной, как грабли, а мы с моей подружкой Наташкой гуляли. И они уже что-то выкрикивали такое, устрашающе-завлекающее. И мы поняли, что бить будут. Но Наташка вообще очень нравилась всем мальчикам. Я же, в общем, непривлекательна была для мальчишек, потому что маленькая. Одетая я жутко была, вечно мне что-то перешивали, то из папиного железнодорожного пиджака сошьют пальто, то... А Наташка хорошо одевалась, она одна была в семье. Там довольно состоятельная была семья. И она была как-то более развита, чем я, и более привлекательна. Выбивалась в красавицы местные. Правда, когда мы выросли, я встретила ее, это совсем не красавица была, но тогда считалась красавицей. И, видимо, шпана отреагировала на нее. И мы тогда решили, что пробьемся, Наташка сказала: «Будем пробиваться!» Ну, будем так будем (*смеется*). И они шли на нас шеренгой, а мы так тоже, плотно сжавшись, шли и ускоряли шаг. И они ускоряли, и мы. И как столкновение машин при ускоряющейся скорости, так и это произошло. Но дело в том, что они на Наташе сосредоточили внимание, а я проскользнула между ними, под руками. Единственное у меня достоинство было — я бегала очень быстро. И удрала. И Наташка тоже удрала. Но они ее несколько помяли, но она так пищала (*смеется*)... Она тоже удрала. Вот это единственное столкновение с местной шпаной. А может, не шпана была, не знаю. Но с мальчиками я тогда не дружила. Просто во дворе у нас не было... Школы отдельные были, и мы в женском монастыре.

Н.Л.: Это было единственное столкновение у вас с мальчиками?

Н.Б.: Единственное.

И как нас ни берегли, но у нас в четвертом классе была девочка, дочь директора табачной фабрики «Дукат», краса района. Когда мы в четвертый класс перешли, она уже третий год там сидела.

”

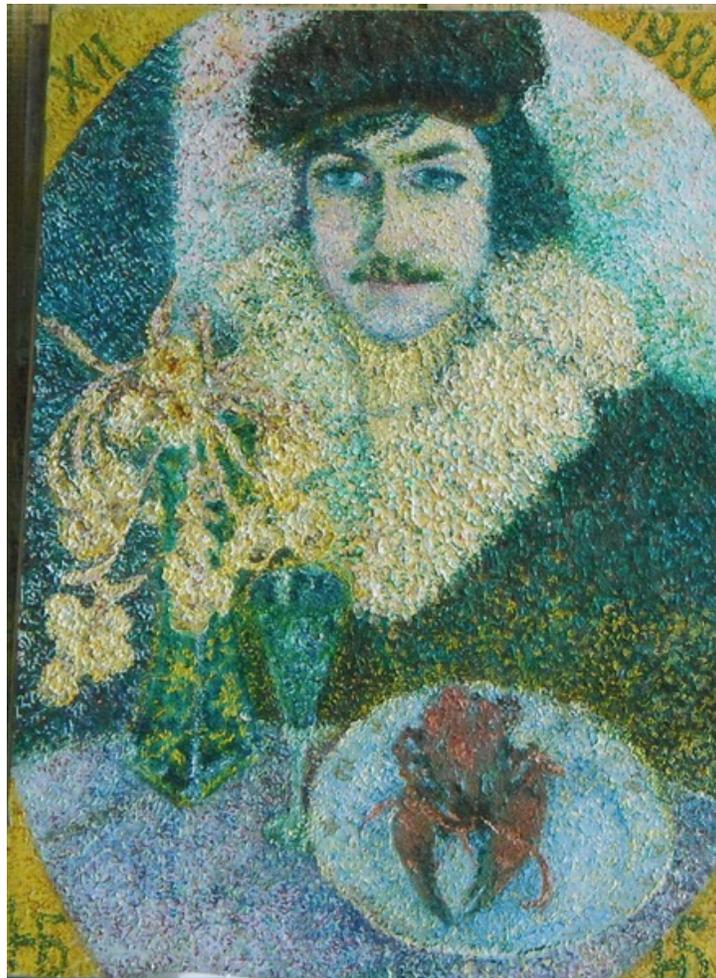
И в течение года вдруг выяснилось, что она беременная. Она была лихая девочка. И с нами проводили работу, чтобы мы не забеременели. Я вообще даже не знала, что это такое! И, конечно, удивилась: о чем говорят?

Наша директриса, тоже член партии, была очень важная дама, она каждый день приходила к нам на урок — тогда историчка у нас вела «Конституцию» — на урок «Конституции» и начинала свою беседу с обращения: «Девушки нашей страны, вами гордится страна, а вы что?!» Дальше наши пороки вскрывались (*смеются*). И девушки, конечно, с тоской на нее смотрели. Она была, в общем-то, хорошая заведующая, она сберегала девушек, сберегала учителей. У нас были учителя, которые были под следствием, вышли из лагерей... Поэтому-то она и проводила с нами эти лекции. Тогда мы ничего не понимали, понимали только то, что она зануда. А она — ничего... Она и со мной проводила беседу, но не «девушка нашей страны»: она меня очень хорошо знала, я жила напротив школы, и Лиду знала, и родителей моих знала. И всякий раз, когда встречала меня, а я куда-нибудь бежала: «Брагина, стой!» И я стояла, она говорила: «Почему ты, совсем не глупая девочка, почему у тебя тройки?» Я скромно опускала глаза в землю: «Ну, так получается». — «Ты что, ленивая?» — «Может быть, я не знаю».

Но на самом деле мне до поры до времени было совсем неинтересно учиться. И кроме того, мне негде было учиться, кроме как в школе. В первом классе мы учились в третью смену, это после трех часов, уже темно. А как раз в первом классе девочек от мальчиков отделили, в конце. И сидели мы по четверо человек за партой. Ну, чем можно тут заниматься? Со мной сидел мальчик, Юра Силин, которого я только тогда видела, в первом классе, а потом его перевели в мужскую школу, либо вообще он... Это же, как правило, были дети военных, куда-то перебросили его отца — и все, он исчез из нашего района, я его не видела никогда. Юра Силин превосходно рисовал. Вот первый человек, который показал мне прелести рисования. Тетрадки я делала из Лидиных старых тетрадок, где были чистые полстраницы, например. У меня это было страницей. Он зарисовал все мои самодельные тетрадки. Он рисовал кавалерию, конников, танки рисовал, но мне очень лошади нравились, просто в восторге была. Ну вот, перевели их потом. И не было больше учителя. И я рисовала дома, рисовала все время. Но у меня, в общем-то,

не было места, ни столика никакого. Был один стол у Лиды, у папы был, но папа сам работал, когда приезжал домой, и у него там чертежи какого-то исследования лежали, нельзя было там работать. У Лиды был маленький письменный стол, и Лида сидела и упорно занималась до глубокой ночи. А потом был у нас светильник. Ведь до 43-го или 44-го года в Москве электричества не было, и когда дали, был очень слабый накал, ватт 20, наверное. И позволялось одну лампочку иметь. А эти сволочи Бровкины даже абажур срезали у нас, висела лампочка на голом шнуре. У нас не было денег. Мама вообще не могла, будучи больной женщиной, ходить, искать. Она только едва успевала покормить нас и осмотреть, нет ли у нас вшей, еще чего-нибудь. Еще детский столик сохранился, не знаю, почему они его не уволокли, низенький такой. И я сидела за ним почти в темноте... Здесь стояла керосиновая лампа, я где-то там, в углу, сидела. На так называемом чтении мне нечего было делать, а вот писать я писала плохо, такие каракули, да еще в темноте выводила, что просто любо-дорого. Ну, это я за пять минут делала. Потом я начинала рисовать, уже поверх написанного, поверх всего. И в книжках, в учебниках. Там были чистые страницы сзади, шмуцтитутлы, и все моей рукой было зарисовано. И мама мне тогда, наверное, в третьем или четвертом классе, когда уже что-то можно было купить, или купила или на рынке выменяла альбом и цветные карандаши, 36 оттенков, большой очень набор. Это, скорее всего, на рынке было куплено. На день рождения мне подарили. Это было счастье! И вот тут меня нельзя было уже никуда оторвать от этого. Я сидела и рисовала. Мне не очень нравилось, как я рисую, честно сказать. Иногда пыталась срисовывать что-то — это мне тоже не нравилось. Но я рисовала все время. Я рисовала всех своих родных, подружек...

Н.Л.: То есть вы прямо сразу начинали писать с натуры, это не фантазийные были какие-то мотивы?



Игорь Филатов. 1980

Н.Б.: Нет-нет-нет, мне нужен был объект обязательно. Разве что цветы какие-то — это я могла из головы, уже я их знала, цветы. И перед разными днями рождения своих подруг и родных я делала открытки цветными карандашами со своими каракулевыми подписями, но с цветами какими-то, с рисунками. И потом, в старших классах я немножко меньше рисовала, хотя я нашла свои рисунки школьных подруг и брата, сестры. Это последний класс школы. Тут уже я очень серьезно занималась, потому что было сказано, что если ты не получишь медаль, ты будешь сдавать на общих основаниях, а экзамены я не любила. Сила моя была в литературе, я очень любила историю и очень любила литературу. И была прекрасная преподавательница у нас, очень пожилая женщина. И очень некрасивая, старомодная, по-видимому, одинокая. В какой-то в юбке нелепой ходила, из шторы, по-видимому, сделанной, и в кофте балахоном. Все время. Варвара Васильевна Татаренчик, я ее помню. Но мне так нравилось, как она грамматику объясняет! Просто испытывала наслаждение! Как образуется слово, как оно распадается, как получаются новые слова из одного и того же слова! Невероятно нравилась грамматика. И, в общем, я была грамотная очень девочка, и дома у нас грамотные были. И папа очень грамотный, и мама, которая симферопольскую гимназию закончила. Очень грамотные были люди. Я ни одной ошибки не встретила у них, они письма нам писали, когда мы уезжали. Это было поразительно!

Н.Л.: Семейная врожденная грамотность.

Выбор специальности, поступление и учеба в университете

Н.Б.: Да, это, видимо, врожденное свойство. И Лида грамотная. Игорь, ну, он заболел рано, так что тут трудно было выяснить. Хотя он тоже, видимо, был грамотный. И в результате получила я серебряную медаль и стала с ней ходить по институтам. Почему-то все очень дома хотели, чтобы я в Институт востоковедения поступила. Мне тоже хотелось. Я накупила книг вначале весны, об Индии. Вообще было много по Востоку, и серьезных, таких советских исследований. И я прочитала по Индии... В общем, мне это было интересно просто потому, что это новый материал совершенно. Но я никак не видела себя индологом. Тогда Лида меня стала зазывать на истфак. Она специализировалась на итальянском Средневековье, раннем Возрождении. Итальянский знала хорошо очень, учила в университете итальянский, латынь, превосходно читала источники. Я читала тоже — все, что дома появлялось. Но мне казалось неприличным, если обе сестры... Думаю, опять будут корить: вот, сестра у тебя гениальная, а ты дурочка. Ни за что не пойду на истфак!



Это значит только одно: я внутри себя не знала, кем хочу быть, что хочу делать. У меня интерес ко всему был.

И тогда папа, по-моему, мне сказал: «Ты доиграешься, уже прием закончится, а ты не решилась ни на что. На экономическом факультете есть восточное отделение, может, туда пойти, там изучают Индию, Японию, Китай, Корею». Я пошла туда, у меня приняли документы, и я осталась там. Мне предложили на японское. Только потом я поняла, почему на индийское не предложили: на индийском были места, а там было у нас на каждом курсе по четыре человека максимум: четыре япониста, четыре кореиста... Индологами были дети либо преподавателей, либо присланные по партийной разрядке, такой у нас был еще пункт. Я в японской группе единственная с улицы пришла, но с медалью. Там были все медалисты. Но один мальчик приехал из Чебоксар, он был уже член партии, комсомольский вождь. Одна девочка была — серебряная медалистка — дочь зю завсклада. Уважаемая женщина, одинокая мать. Но эта Нина Соколова, бедняжка, страдала, она ничего вообще не знала, потому что медаль маме просто подарили. А потом мама с этой медалью и с дочкой пришла и принесла со склада такие вещи, что, конечно, девочку сразу признали талантливой. Но она после первого курса ушла из университета, ей было очень тяжело. Она полусонная такая ходила... Это не для нее было. И четвертый наш мальчик, взрослее нас гораздо, уже работал. Он был тоже членом партии и тоже с серебряной медалью, из школы рабочей молодежи. Ну, к третьему курсу осталась я, потому что который старше был, он решил, что с японским нечего делать,

и ушел на общее отделение, на политэкономия. Из Чебоксар мальчик, немец наполовину, немец Поволжья, тоже был из семьи крупных партийных чебоксарских работников. Он жил в общежитии. Весь первый курс он изредка ходил на занятия языком — у нас были занятия языком и экономическое... нет, хозяйственная политика или что-то такое — курс об экономике Японии. Скучнейшие курсы, и эти несчастные наши преподаватели... Была профессор, женщина, Мария Ивановна, не преподаватель по своему типу, но член партии. И был еще у нас, преподавал японские монополии, тоже член партии, как будто военный, как будто воевал — тот вообще все время читал цифры, дзайбацу какие (дзайбацу — монополии), каков капитал, каков продукт, за каждый год послевоенного восстановления. Через сорок пять минут мы полностью были зомбированы, ничего не понимали. За ним записать мы не успевали все эти цифры. Ну, кто-то успевал одну часть, кто-то другую. Но это надо было знать и надо было сдавать ему зачеты, слава богу, а не экзамены. А зачеты мы... Он разболелся и сказал, чтобы мы приезжали к нему домой сдавать. Тогда практиковалась такая сдача и экзаменов, и зачетов. Особенно зачетов. Это, по моему, первый наш зачет был, все четверо мы ехали. И приехали к нему в село Алексеевское, к черту на кулички, где-то за «Тимирязевской». Мы на трамваях ехали на нескольких, веселились как могли. Мы ничего не знали. Приехали к нему и решили, что просто попросим его записки и почитаем на досуге. Он сказал: «Ну, вы ходили на мои лекции, вы слушали, вы записывали очень внимательно... — Он лежал в постели. — Давайте ваши зачетки». И он нам поставил зачеты. Это чуть ли не первый зачет в моей жизни был. Привел меня в искреннее изумление! Я подумала: «Что же это такое? Профанация же это!» Мы промолчали, когда он сказал «давайте зачетки», а он уже заранее знал, что нам поставит.

Самое интересное, что он не был больной, а просто лежал. И, поставив нам зачеты, сказал, давайте что-нибудь выпьем, отметим ваш зачет.

”

Но мы в таком ужасе были. В общем-то, конечно, мы невинные дети были еще, кроме Бориса Ибрагимова, который старше нас был. И мы вылетели от него, недоумеваю, почему это произошло.

Остальные зачеты, конечно, не так нам удавалось сдать. А к третьему курсу ребята все исчезли. Чебоксарский юноша был очень способный, хоть он из такой семьи, но ясно было, что он и умен, и способен, и к языку способен, но он весь первый курс лежал на кровати в общежитии и читал книги, из университетской библиотеки брал и читал, знакомился с мировой литературой, с которой не был знаком в своих Чебоксарах. И за непосещаемость на втором курсе его попросили освободить место. Он ушел в армию, прослужил два года, просидел в окопах каких-то, дзотах, дотах. На радиоперехвате работал. Писал письма нам в университет, а до этого был молчалив, и мы совершенно ничего о нем не знали. Потом вернулся в Москву, но в университет не пошел. Он окончил какой-то экономический институт, но я уже переезжала, уже дети родились. И у него тоже дочка родилась, он потом приезжал к нам с дочкой. Она очень хотела балериной быть, и у себя там, в Чебоксарах, училась, и он ее в училище Большого театра устраивал. Но, опять-таки, я не знаю его судьбу дальше, потому что мы опять переезжали.

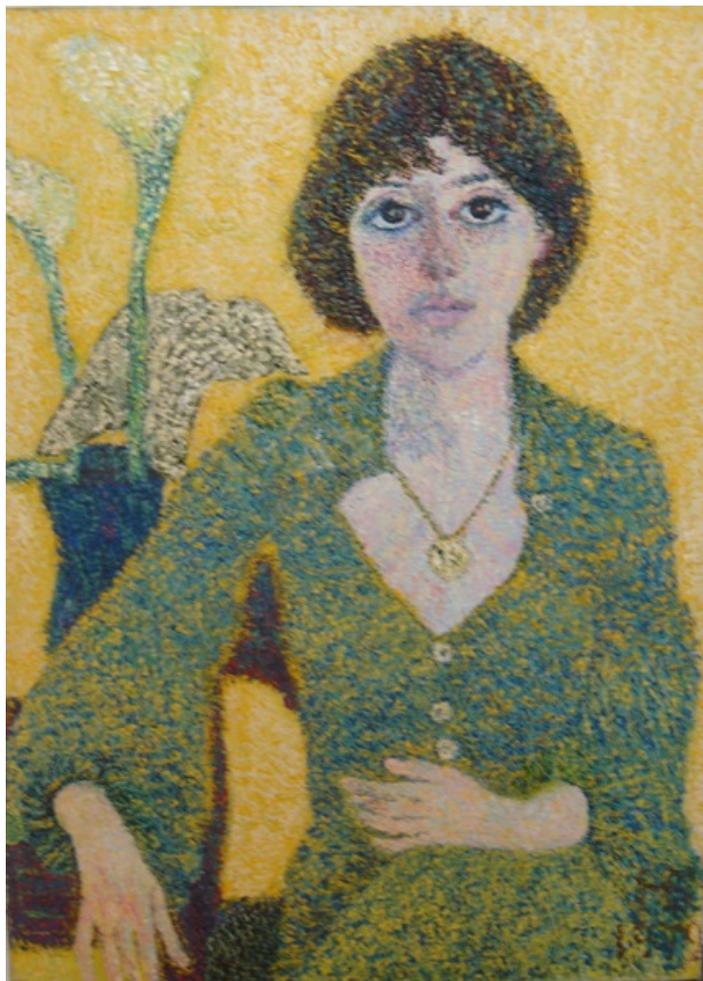
Н.Л.: А куда вы переезжали?

Н.Б.: Сначала на Детскую улицу. Это в районе «Преображенской». Там застраивалось бывшее село Богородское. Там жили старообрядцы. Их всех оттуда убрали, домики разрушили, садочки тоже и понастроили домов. Дома хорошие были. Мы там получили очень маленькую двухкомнатную квартиру за нашу комнату и за комнату, которую нам институт выхлопотал у райисполкома. И мы их сдали, эти две комнаты, и нам за них дали эту двадцативосьмиметровую отдельную квартиру. Но у нас уже было двое детей.

Н.Л.: Это вы уже рассказываете про свою жизнь, не про жизнь...

Н.Б.: В университете? Нет, уже все, уже сама живу.

Н.Л.: А расскажите, в какой момент вы вышли замуж, как это происходило?



Ира Бонк. 1975

Распределение в ВИНТИ, перевод и работа в ИМЭМО

Н.Б.: Я окончила университет. Неплохо окончила, но в те годы было обязательное распределение на работу. Или мог выпускник принести уже с работы заявление, просьбу о направлении на работу в таком-то месте. У нас была целая группа восточников так называемых: китаисты, кореисты, индологи. И из японистов я. Нас всех распределили в Институт научной информации, который и по сей день существует в Балтийском поселке около «Сокола». В институте тогда работали переводчики, переводили всякие журналы по специальности: и технические, и экономические, и литературные... Но литературных мало было, в основном экономические и технические. И издавали тогда бюллетени, которыми пользовались те, кому недоступны были языки. И вот нашу группу отдельным отделением сделали в этом ВИНТИ. Мне поручили выпускать бюллетень по школьному образованию в Англии. Не знаю, почему в Англии, а не в Японии, почему школьное образование — сейчас уже не помню. Я, естественно, пошла искать литературу оригинальную, но мало что нашла, и самое главное — я вдруг поняла, что не хочу этого делать, не хочу о школьном образовании писать, о системе, и вообще, мне очень не понравились там люди. Там было очень много людей таких... Папа называл их «жучки», у папы было особое выражение. Это чистая душа, он не мог смириться с тем, что кто-то зарабатывает деньги — он же «левые деньги» зарабатывает, помимо работы. А там все зарабатывали, в основном, «левые»: делали переводы кипами. Они неплохо оплачивались для тех, кто со стороны приходил. Для нас была зарплата, не помню, самая

минимальная, научный работник получал что-то 980 рублей, это очень маленькая была зарплата. Я-то рада была все равно, что я совершенно самостоятельно человек, но через полгода поняла, что не могу работать в этом месте, и не потому, что там зарабатывали деньги, не поэтому. Как-то я не могла смириться, что здесь не занимаются научной работой, вообще всерьез эту жизнь не принимают. А уйти я не могла, потому что меня направил университет. Но этот институт, ВИНТИ, находился в системе Академии наук, и вдруг пришла одна моя подруга университетская. Она кончала французское отделение, вернее, европейское отделение, французский у нее был основной. И она как-то умудрилась устроиться... Очень такая, без всяких связей девочка. Ей просто повезло, ее руководитель, преподаватель французского, устроил ее туда. Только что организовывался, он существовал года три, наверное, Институт мировой экономики и международных отношений. И тоже — Академии наук. И она мне сказала, что освободилось место япониста. Была одна, но она куда-то переходит, и свободно место япониста, пойдём, ты поговоришь там. Тогда в этом институте работало двести с чем-то человек. Маленький был, крошечный, потом уже тысячи там работали, но тогда он только еще организовывался. И я пошла, но меня не отпускали. Там сказали: «Мы готовы вас взять». Но меня не отпускали отсюда! И я пошла в Президиум Академии наук.

” Я была очень решительная девушка. И в Президиуме какому-то чиновнику я как дважды два доказала, что это система Академии наук все равно, но что я там буду заниматься научной работой, а здесь я ничем не занимаюсь. Это ерунда, это не для меня.

Университетское образование — я очень гордилась им тогда. Он сказал: «Ну, в общем, вы правы, давайте, я позвоню в ВИНТИ, и вас переведут». И меня перевели. И я с 1 января 59-го года вышла на работу в ИМЭМО, Институт мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР. Это был лучший теоретический институт Советского Союза. Лучший, потому что там с очень хорошим образованием, советским образованием, люди были. Были старые специалисты, которых увольняли еще до войны и во время войны, так сказать, социально неполноценные. Но наш институт, наш директор, Арзуманян, очень был сочувствующий. Много очень друзей его пострадало. В общем, он брал людей и опытных, и знающих. И там значительную часть составляли «погоревшие» разведчики, американские разведчики, английские разведчики. Наши разведчики, которые тоже «погорели». В общем, все, кто завалился, работали у нас. Они знали языки, но не были учеными, конечно. В общем, все-таки я попала совершенно в другую среду, которой я очень благодарна. И я работала с большим увлечением. Я занималась сельским хозяйством Японии, которое оказалось в высшей степени интересным. Но я еще в университете диплом писала по сельскому хозяйству...

Н.Л.: А как звучал ваш диплом?

Н.Б.: Так и назывался: «Сельское хозяйство Японии после Второй мировой войны». Дело в том, что оно очень быстро восстановилось, но восстановилось только потому... Очень сложная обстановка и вообще условия тяжелейшие были... Восстановилось потому, что там были американцы, до пятидесят какого-то года, они были под оккупацией американцев, и американцы план восстановления создали. Это не военные создавали, а ученые, в лучших университетах. И этот план сработал как нельзя, он был очень разумный. И я это восхваляла, ничтоже сумняшеся. Ну, уже на дипломе, конечно, меня немножечко поправили. Но я тогда соглашалась, думала, они знают, они умные, хотя уже чувствовала — что-то не то. А когда стала работать в ИМЭМО, я уже всерьез стала заниматься, и уже серьезные источники у меня были, и американские. И я уже знала, откуда этот план произошел, и статистику первичную брала. В общем, уже более серьезно подошла и, конечно, только в ИМЭМО я могла защититься, потому что директор ИМЭМО был человек, который очень дружил с нами. Старше он нас был значительно, но который был мужем моей подруги очень близкой. Она работала в секторе аграрном. Я пришла, и сразу мы с ней ужасно полюбили друг друга. Очень умная женщина! Она американским сельским хозяйством занималась, а я японским. Там был один известный диссидент, который занимался итальянским сельским

хозяйством. Потом, там был еще мой друг — тоже там стал моим другом, он теоретическими проблемами сельского хозяйства [занимался]. Вообще был прелестный сектор, все очень серьезно занимались и как-то очень расположены были друг к другу. К тому же у меня было двое младенцев, к которым я все время стремилась, не с кем было оставлять. Весь наш сектор невероятно помогал, просто невероятно! Мужчины сидели с ними, когда мне надо было уходить. И отпускали нас с Юрой, когда к кому-то на день рождения вне сектора мы шли. И мы фактически каждый вечер собирались у нас дома.

Н.Л.: Со всеми — это всем институтом или сектором?

Н.Б.: Да, нет, не институтом — сектором.

” Нас было человек пятнадцать, потом меньше стало. Но в каждом секторе был обязательно свой доносчик, осведомитель. И у нас была, и мы знали, кто, и она с нами собиралась.

Не знаю, о чем она доносила, но и она помогала. Но мы не показывали вида. Но был один очень неприятный осведомитель среди нас. С тем мы менее дружили, не каждый день он к нам приходил, но иногда примыкал. Мы жили очень открыто и ничего не таили, поэтому материал для ежедневных доносов богатый был у него. И у него, и у нее. Она была старше нас значительно, а он был фактически наш ровесник, немножко старше.

Н.Л.: Наталия Михайловна, скажите... У вас два сына родились... Они были двойняшки или близнецы?

Н.Б.: Двойняшки.

Н.Л.: Как их зовут?

Н.Б.: Петр и Илья.

Н.Л.: А мужа как зовут вашего?

Н.Б.: Юрий Бенцианович. Отец у него Бенциан Соломонович, еврей. А мама полька, Ванда Александровна. Умерли уже оба.

Н.Л.: А фамилия?

Н.Б.: Кочеврин.



Мы с Сашей в Кратове. 1981

Занятия рисунком и живописью

Н.Л.: Вот скажите, пожалуйста, я хотела бы еще выяснить такой момент: вы все время писали, рисовали... Вот в университетскую жизнь как проходило ваше творчество?

Н.Б.: Дело в том, что когда я в школе училась и когда я подумала о том, что, может быть, мне уйти, заняться живописью профессионально, мама все время говорила: «Ну что ты будешь художником! Ну что ты все время нищая будешь!» И это «нищая» меня преследовало. Я не хотела быть нищей. Я хотела быть независимой. И поступив в университет, узнала, что там постоянно действует студия. Она занималась там же, где был театр университетский, в бывшей Татьянинской церкви. И что там руководит очень заслуженный человек некто Захаров. Не помню его имени. Помню, что был небольшой мужчина, лет пятидесяти. И уже давно вел группу, а я в сентябре решила примкнуть. Он с удовольствием меня принял, посмотрел, что я рисовала, мои детские рисунки. Больше всего мне нравилось, что там была живая натура: натурщика и натурщицу они приглашали. Два дня в неделю занятия, мы писали классическую «расчлененку»: ухо, глаз, нос, губы, голову. Один раз мы писали... Не писали — рисовали, карандашом это было, натурщиков, а в воскресенье был пленэр: они ездили за город, и у них там были места. Но я не ездила ни разу с ними за город. Во-первых, мне очень не нравились все, кто там занимается. Характер у меня был не из лучших, почему-то не испытывала ни к кому симпатии. Наверное, потому, что когда мы работали, все постоянно ходили от одного мольберта к другому и смотрели. А я не выношу этого. Совершенно! И когда у меня за спиной стоят, готова убить! У меня потом был приятель, художник, он говорил, что всякий раз, когда он на улице писал... Ну, он-то профессиональный, он во ВГИКе учился, на художественном отделении, он оборачивался и... Восточный

он человек, и у него ножик был. Он ножом делал выпад — и сразу разбегались. Ну, ничего я не делала, но я очень не любила их за бесцеремонность. И они обсуждали, кто что как пишет, и сравнивали. Но я ходила на эти занятия весь первый курс и весь второй курс. На втором курсе я не выдержала и ушла. Мне не нравились и занятия сами, один и тот же рисунок на том же листе бумаги: растушевка, подправка. Я совершенно иного метода придерживалась. Я очень много ходила в музеи, рисовала там, но это уже другое, это мои занятия были. Когда я ушла отсюда, и папа узнал, он очень расстроился, сказал: «Слушай, ведь есть же в Доме ученых тоже изостудии, очень интересные работы». А я до этого в Дом ученых не ходила, а папа был членом Дома ученых. Он меня привел туда, в эту изостудию, просто на место привел, ушел потом. Я с руководителем этой студии говорила, он меня расспрашивал, я его. И потом он повел показывать мне работы. И я пришла в ужас: они акварелью писали, детский лепет. А он говорил, что это лучшие работы висят в Доме ученых. И я решила, что я не буду заниматься здесь.



Самое главное, что к этому времени я уже твердо знала, что не хочу быть советским художником, твердо была убеждена, что не хочу работать, как все те, кто пишет и акварелью и маслом.

Я ходила на выставки. И на выставке Глазунова на первой я была — она мне очень не понравилась. Я поняла, что Глазунова из меня не выйдет. Ну, что мне все не нравится, что из меня может выйти — ничего не выйдет. И я бросила все это дело, перестала ходить. Но мои друзья на работе — я им все это рассказываю, рассказываю анекдоты из своей жизни художественной. Они веселились и говорили: «Ты покажи работы». Я стала маслом писать. Масло мне подарила мама давно, но я, только вышедши замуж, стала маслом писать. Натюрморты, вернее, постановки себе ставила и писала. Когда дети родились, я как безумная писала. Странно даже было, я успевала все!

Н.Л.: Как вы успевали все?

Н.Б.: Откуда я знаю, как, успевала, и все.

Н.Л.: И работа, и дети, и писать — на это же...

Н.Б.: И дети, да. И я ушла в аспирантуру. Аспирантура-то... Первый год я могла ничего не делать в смысле аспирантском, а ведь мне дали... Я один год была заочной аспиранткой, и два года очных мне дали. В общем, сложно, но много сил, много интереса было. Я рисовала и на улицах, и вообще, и все маслом. Тогда стали устраивать мои выставки.

Первые выставки

Н.Л.: Когда была ваша первая выставка?

Н.Б.: Не помню. Она была на квартире одного из моих друзей. Строил кооператив институтский и получил там квартиру. Это в Новых Черемушках. И еще ничего в ней не было. Он сказал: «Мы устраиваем твою выставку». И как тогда было распространено, все сидели на полу, рассматривали. Там были художники серьезные и говорили мне, и что делать и чего не делать. В общем, было очень весело. Это была первая выставка. А потом была в Институте соцсистемы. Там был директором аспирант экономического факультета, когда я училась. Он меня знал как студентку, а он был тогда аспирантом. А я выпускала нашу спортивную газету в университете. И он приходил иногда и смотрел. Он не то в партбюро, не то в спортбюро был. В общем, и партбюро, и спортбюро, и комсомольское начальство — мы все эту газету выпускали и ужасно веселились, всем было очень смешно, и газета была смешная. А я все рисовала там. И он предложил мне... Пришел как-то в наш институт, увидел меня, узнал, и общие друзья наши устроили у него выставку. Институт был закрытый, туда пускали только по пропускам или по спискам, но с паспортом. Тем не менее устроила я выставку там. Это была вторая выставка. А потом...

Н.Л.: Это какие были годы?

Н.Б.: Наверное, начало и конец 70-х, я совершенно не помню, потому что самое интересное — для меня выставки ничего не значили. Для меня значило только то, что я пишу.

Н.Л.: Сам процесс.

Н.Б.: Да. Ну, смеялись надо мной, просили: «Ведь это важно, важно показывать другим!» Я помню, как один человек доказывал мне, что художник работает для народа. И так я на него обозлилась за это «художник должен, должен народу». Просто я его уничтожила. Сказала, что я народу ничего не должна, и народ не должен смотреть на мои работы, а кто хочет, пусть смотрит, а кто не хочет — пускай идет отсюда. Он прицепился ко мне. Но это уже было позднее, в Доме Цветаевой была первая выставка моя. Он... что мои портреты не современны, а советский художник обязан современность отражать. Но вот тут нашла коса на камень, я его очень... Я считала, что он какой-нибудь осведомитель, не более... Хотя эта точка зрения была преобладающей: что художник работает для народа.

Текст авторизован Н.М. Брагиной.